

САРА ГОР

РАСКОЛОТОЕ
ЧЕШЕВО
ЗАЙНАП

Сара ГОР РАСКОЛОТОЕ НЕБО ЗАЙНАП

<https://litres.ru/74634107>

SelfPub; 2026

Аннотация

Февраль 1944 года. Семнадцатилетнюю Зайнап из ингушского села Наьсаре вместе с матерью вывозят в Казахстан: отца два года как нет, он на фронте. В теплушке мать умирает, и на станции среди зимней степи Зайнап остаётся одна — без родни, без бумаг, с узлом и книгой, в которой лежит довоенная фотография отца. Её, «ничью», берёт к себе старуха Марьям: живёт Зайнап в сарае и работает дояркой в совхозе.

Сара ГОР РАСКОЛОТОЕ НЕБО ЗАЙНАП

РАСКОЛОТОЕ НЕБО ЗАЙНАП

Глава 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. СТЕПЬ

1. Дорога. Февраль 1944 — 1957
2. Дом под железом. 1957–1958
3. Осколок. 1958

Часть вторая. ДОМ

4. Дочь. 1959–1961
5. Ключ. 1962–1966
6. Хозяйка. 1966–1980

Часть третья. РАСКОЛОТОЕ НЕБО

7. Годы. 1980–1994
8. Расколотое небо. 1994–1999

Часть первая. СТЕПЬ

1. Дорога

Состав стоял на запасном пути с полудня, растянувшись по степи и походя на длинного зверя, который лёг и не хочет подниматься. Мимо проходили встречные, платформа за платформой, под брезентом угадывались стволы; после каждого снова делалось тихо, и в этой тишине было слышно, как ветер трёт снег о снег. Степь лежала до горизонта, белая и ровная, и только у самых путей чернели пятна мазута да торчали из наста сухие будылья.

В теплушке стоял мрак. Иней держался на стенах толстым серым налётом, под потолком висел бахромой и осыпался на шапки, когда поезд трогался. Людей набилось столько, что спали по очереди: один дремлет, другой сидит на его месте. Кто-то кашлял без передышки, кто-то стонал, ребёнок плакал, и никто не мог его успокоить. Пахло овчиной, немытыми телами и копотью от плошки.

Зайнап сидела у стены, поджав под себя ноги. Семнадцать ей было, а на вид никто не дал бы и пятнадцати: худая, широкоскулая, с обветренными губами. Прижимала к груди книгу, небольшую, с оторванным корешком и загнутыми углами, и держала её так, будто в книге что-то хрупкое.

Мать лежала рядом, на досках, накрытая тонким одеялом и сверху пальто. Через пальто проступали лопатки. Дышала она с долгими промежутками, и в эти промежутки Зайнап переставала дышать тоже.

— Мама, тебе тепло? Я тебе платок поближе подоткнула.

Мать не открыла глаз. Из горла вырвался слабый стон, рука под одеялом шевельнулась и затихла.

Зайнап погладила эту руку, сухую, горячую, и стала говорить, чтобы только не молчать:

— Скоро приедем. Там будет легче.

Она и сама не помнила, в который раз повторяла эти слова, и сама не знала, что такое это «там». Мать не знала тоже.

* * *

Двадцать третьего февраля сорок четвёртого года по селу ходили машины с фонарями, и в каждой хате стучали в дверь.

Было пять часов утра. Мороз стоял такой, что дым из труб шёл вниз и стлался по улице, и снег под валенками скрипел на весь двор, так что было слышно, как идут за три хаты.

— Вставайте. Собирайтесь. Полчаса.

Больше ничего не говорили. Ни куда, ни зачем, ни на сколько. Солдаты стояли в сенях с фонарём и листом бумаги, где против каждой фамилии стояла галочка, и ждали, и в это время в доме начиналось то, что начинается в доме, когда надо взять всю жизнь и унести на руках.

Мать схватила узел: хлеб, тёплые носки, фотографию отца. Соседка через плетень кричала своё, её муж бегал по двору и не мог вспомнить, куда положил топор. Кто-то успел запрячь лошадь, и её тут же отпрягли и увели; скотина в сараях осталась стоять и мычать, и её никто не доил в то утро.

Старуху с конца улицы вынесли на руках — она не могла идти, — и она всё просила, чтобы ей дали умереть в своем доме, и её несли мимо её собственных дверей, и она замолчала только у машины.

У кого-то в печи остался хлеб. Он там и остался: печи в то утро никто не гасил.

* * *

В товарных вагонах было по сто сорок человек.

Внизу на полу настелили доски, в два яруса, и на эти доски клали узлы и людей. В стенах были щели в палец, в полу — дыры, через которые на ходу летел снег и колючая крупа; вместо печки стояла железная бочка без дров, вместо уборной — ведро. Двери задвинули снаружи и заперли.

В первый час ещё было слышно, как на станции переговариваются конвойные и как лают собаки. Потом поезд тронулся, и всё, что было снаружи, кончилось: остались только скрип, стук колёс и ветер.

Зайнап сидела у стены и держала мать за руку.

К вечеру стало так холодно, что вода в бутылке, которую дали с собой, замёрзла до самого горлышка. Женщины жались друг к другу; кто-то снял с себя всё, что мог, и укутал ребёнка. Дети плакали сначала громко, потом тихо, потом совсем перестали: их прижимали к себе и дышали на них, и это помогало на десять минут, а потом надо было снова.

В углу у ведра сидели старики. Один, сухой и маленький, всё просил пить; ему нечего было дать, и Зайнап поднесла

ему горсть снега, который набился в щель у стены, и он пососал этот снег и закрыл глаза.

Утром он был уже мёртвый.

Его жена сидела рядом и держала его за руку и никого не подпускала, и когда к ней подошли, сказала только:

— Дайте мне его довести.

Ей не дали. На первой же остановке его вынесли — не вынесли даже, а выволокли двое конвойных, взяв за ноги, — и положили в снег у насыпи, и женщина вышла за ним и села возле него на снег, и поезд стоял пять минут, и она всё сидела, а потом её стали заталкивать обратно в вагон, и она цеплялась за порог руками, и тогда её втокнули силой.

Больше она не говорила.

* * *

Так начались те семнадцать дней.

* * *

Поезд шёл и стоял, шёл и стоял.

Стояли в открытом поле, пропуская воинские, и тогда в вагоне делалось слышно, как где-то далеко идёт другой состав и как он проходит мимо, длинный, тяжёлый, с платформами, накрытыми брезентом. Стояли на маленьких станциях, где не было даже названия, только столб с цифрой. Стояли по пять минут, по десять, иногда полчаса, и эти минуты были дороже всего: двери откатывали, и в вагон входил воздух.

В эти пять минут все выходили.

Женщины выносили детей, старики выползали, держась за стену, и все шли вдоль насыпи, в снег, потому что нужник был только там. Мужчины отходили дальше и стояли спиной, и в морозном воздухе пар от дыхания висел, как дым.

И в эти же пять минут выносили мёртвых.

Их клали у насыпи в ряд, головой к путям, и накрывали тем, что было: тряпкой, мешковиной, чьим-то пальто. Копали тут же, у насыпи, но земля была мёрзлая, как камень, и лом брал её на ладонь. Тогда копали неглубоко, на штык, и клали туда, и забрасывали снегом, и утрамбовывали валенками, чтобы не было видно.

Один раз Зайнап видела, как зарывали двоих детей сразу, мальчика и девочку, и мать стояла над ними на коленях и не давала засыпать, и её оттащили.

— Успеете, — сказал конвойный. — Поезд идёт.

Когда поезд трогался, кто-то оставался стоять у насыпи и смотреть вслед: не тому, кто умер, а тому, что осталось позади.

* * *

Дети умирали первыми.

Их было много в каждом вагоне, и они умирали тихо, потому что к третьему дню у них уже не было сил плакать. Матери прижимали их к себе и дышали на них, и подкладывали под них всё, что было, и совали им в рот хлеб, размоченный в снегу, — и всё равно к утру кто-нибудь не просыпался.

Зайнап потом не могла вспомнить эти дни по порядку. В

памяти остались не дни, а картинки: иней на стене, бахромой; чья-то рука, лежащая на досках; женщина, которая поёт колыбельную над мёртвым ребёнком и не может остановить-ся; плошка, в которой горит что-то жирное, и от неё копоть.

И ещё голос: кто-то в темноте спрашивал у конвойного:

— Скажи хоть, куда везут.

— Не положено.

— За что нас?

— Не положено.

* * *

В вагоне говорили разное.

Говорили, что везут в Казахстан и что там дадут землю. Говорили, что везут в Сибирь и что там уже стоят бараки. Говорили, что это не ссылка, а переселение, и что первые уже устроились и пишут домой, — но писем никто не видел.

Один старик из соседнего села сказал тихо, что в горах есть аулы, куда не прошла ни одна машина: дорога не выдержала, а пешком людей гнать было далеко. И что такие аулы не вывезли.

— Как не вывезли? — спросила женщина рядом.

— А так, — сказал старик. — Заперли и подожгли.

В вагоне стало тихо, и кто-то сказал: «Не мели». Старик больше ничего не сказал и до конца дороги молчал.

Зайнап тогда в это не поверила. Она поверила через много лет, когда приехала в район получать бумаги и ей называли село, в котором после войны никто не жил и куда не пускали

приезжих.

* * *

А в их доме уже через неделю жили другие.

Об этом ей рассказали потом, в пятьдесят седьмом, когда она пришла в сельсовет просить, чтобы её вписали обратно в похозяйственную книгу. В их доме, сказали ей, поселили семью из соседней республики: дали корову, дали огород, дали всё, что осталось от них, — и эта семья жила там тринадцать лет и ни в чём не виновата.

Виноват был тот, кто написал на двери мелом адрес, которого больше не существовало.

* * *

Осенью сорок первого, когда Зайнап был четырнадцатый год, отец подтянул её к себе, и она устроилась у него на колёнях, как в детстве, хотя уже стыдилась. На столе лежала карта, потрёпанная, в потёках от чая. С улицы слышно было, как бабы собирают на зиму капусту.

Отец водил по карте жёстким от работы пальцем.

— Видишь, Зайнап? Вот наше село. — Палец обвёл точку и остался на ней. — А это река. Это наши горы. Вся земля тут наша, отцовская, и лучше её нет.

— Правда, лучше нет? — Зайнап повернула к нему лицо.

— Правда, дочка. — Он засмеялся и убрал с её лба прядь.

— Мы отсюда никуда не денемся. Главное, чтобы мы были вместе.

* * *

Зайнап вздрогнула и открыла глаза. В теплушке было тем же, что и минуту назад: тот же иней, тот же кашель, и мать дышала под пальто.

Мимо неё к двери пронесли что-то длинное, накрытое рваной тряпкой, и она успела разглядеть, как из-под тряпки выпала рука. Несли молча, только кряхтели. Дверь откатили, и в вагон влетел мороз, обжёг щёки, закружил по полу колючую крупу. Зайнап отвернулась к стене и сжала книгу так, что корешок хрустнул.

Отец. Где же ты теперь?

* * *

По утрам дверь примерзала так, что её откатывали ломом. Мать почти не приходила в себя. В забытии она говорила на родном языке, и Зайнап отвечала ей тоже на родном, шёпотом, чтобы не слышали соседи.

На рассвете семнадцатого дня эшелон загнали на маленькую станцию: барак с вывеской, водокачка, три пути, а дальше насыпь и снег. Двери откатали одну за другой, и в вагон встал морозный воздух, светлый, с запахом дыма. Люди прыгивали на мёрзлую землю и стояли, покачиваясь. Кто-то помог Зайнап сойти, подставив локоть; ноги у неё не слушались.

У насыпи уже стояли подводы. Казахи из соседнего аула приехали по своим делам и на приезжих смотрели издалека, держась за плетнём. Подводы были набиты хворостом, у телег топтались босые ребяташки, а матери шикали на них и

уводили за руки. Когда из вагона пошли просить воды, женщины отступили и закрыли лица платками, а один старик замахал руками: не подходи. В ауле рассказывали, что привезли бандитов, что с эшелоном идёт тиф, а за ведро молока, поданное ссыльному, будет беда похуже холода. Конвойные с карабинами стояли вдоль состава и на толпу не смотрели. К вечеру одна женщина всё-таки принесла в мешке мёрзлых лепёшек, оставила их на снегу и ушла, не сказав ни слова.

Мать осталась на досках. Зайнап вернулась к ней, потрогала лицо, шею под платком, потом долго держала пальцы на её руке, пока не поняла, что ждёт напрасно.

— Мама... Мама, нет...

Она обняла её и заплакала. Мужчины стали рыть мёрзлую землю, но напрасно старались: лом её не брал. Женщины с узлами шли мимо к подводам, кто-то задел её ногу и выругался, и только мальчишка-возчик, стоявший в стороне с вожжами, отвернулся и стал смотреть на пути.

Людей разбирали по аулам и совхозам: читали по бумаге, и семьи уходили своими. К ночи станция опустела. Мать увезли на подводе; куда, Зайнап не сказали. Её никто не ждал: ни родни, ни знакомых, ни того, кто поручился бы за чужую девчонку. Полумёрзлая, она стояла у водокачки с узлом у груди, и пальцы в валенках не гнулись.

К ней подошла старуха лет шестидесяти, в платке и стёганом халате, с добрым и усталым лицом.

— Ты чья? — спросила она по-русски, выговаривая слова

с трудом.

— Ничья.

— Как звать?

— Зайнап.

Старуха повторила имя, покачала головой и тронула её за рукав.

— Пойдём, доченька. У меня в сарае поживёшь.

* * *

Деревня стояла на краю степи. Дома глинобитные, вросшие в землю по самые окна; деревья голые, обглоданные скотом. Ветер гнал по улице пыль и старую солому. Зайнап шла за старухой, опустив голову, в чужом мешковатом пальто и валенках не по ноге. В руке она несла узел, где лежали две рубахи, ложка, кусок хлеба и книга.

— Марьям, — сказала старуха и стукнула себя по груди.

Сарай стоял у плетня, покосившийся, крытый камышом. Внутри было тесно и темно, но чисто: земляной пол подметён, в углу лежала солома, на ней старый матрас и дерюга, на гвозде висела лампа. Пахло кизяком и овцой. Зайнап осмотрелась и сжала губы, чтобы не заплакать.

— Спасибо...

— С коровой справишься? — спросила Марьям.

— Справлюсь.

Марьям вздохнула и вытерла руки о халат.

— Тогда ладно. Надо работать, доченька. Некогда горевать. Хозяйство вести, в совхозе работать. Тебе, как доярке,

легче будет.

* * *

К ночи в сарае стало ещё холоднее. Зайнап легла на матрас, укрылась пальто, сверху натянула на плечи дерюгу. Через стену, из дома, слышно было, как храпит Марьям и как во сне вздыхает и переступает скотина. Вагон всё ещё покачивался под ней: семнадцать суток не проходят за один вечер. Стоило закрыть глаза, и она снова видела иней по стенам, слышала кашель и мать, которая в забытьи говорила на родном языке, а она отвечала ей шёпотом, чтобы не слышали соседи.

— Здесь я одна, — сказала она в темноту. — Никого у меня нет.

Она развязала узел и достала фотографию. Отец стоял на ней у плетня, в пиджаке, снятый ещё до войны, и смотрел чуть мимо, как смотрят люди, которым непривычно перед аппаратом. Один уголок оторвался, и мать подклеила его хлебным мякишем.

Керосин был Марьям, и Зайнап зажгла лампу всего на минуту. Потом сунула карточку в книгу, между страницами, где потолще, и прикрутила фитиль. В темноте было слышно, как за стеной корова пережёвывает жвачку: раз, другой, третий.

* * *

Прошёл месяц.

Зайнап вставала до света и шла на ферму. Доярки сходились в коровнике, где от дыхания стоял пар, и, прижавшись

щекой к тёплому боку, тянули молоко из набухших сосков; от дужки ведра стыли пальцы, а в валенки набивался снег. Потом шёл навоз, потом силос, потом опять коровы. Молоко уходило на приёмный пункт, а ей оставалось по трудодням то, что оставалось.

Она научилась спать на соломе, есть мёрзлые лепёшки и говорить «рахмет». Здешние бабы сначала сторонились её, как сторонились всех приезжих, но весной в коровнике с ней уже говорили как с дояркой, а не как с чужой. По вечерам она возвращалась в сарай, Марьям ставила на стол чугунок, и на этом день кончался.

* * *

Раз в месяц их собирали в комендатуре.

Комендатура стояла на краю аула, в приземистом доме с флагом, и в ней сидел человек с папкой, у которого против каждой фамилии стояла буква и стоял год. Все приходили к девяти, вставали вдоль стены и ждали, и человек с папкой вызывал по имени и отчеству, и каждый говорил: «Здесь», будто был на уроке.

Бумаги, которую разрешала бы уехать, не было ни у кого. Уехать нельзя было даже в район: на дороге стоял пост, и там проверяли. За самовольную отлучку — суд, за побег — лагерь, и об этом говорили вслух, чтобы все слышали.

Зайнап не могла написать домой, потому что дома у неё не было, а писать в часть, где служил отец, значило писать в никуда: оттуда не приходило ничего с сорок третьего года.

* * *

Зима сорок четвёртого — сорок пятого была страшнее до-роги.

Сараи и землянки, в которых расселили приезжих, стоя-ли по краю аула, и топили их кизяком, а кизяка было мало, потому что скотины было мало. Спали в одежде. Воду брали из проруби, и она мёрзла в ведре, пока её несли.

Хлеба давали по норме, но норма была такая, что её не хватало до середины недели, а к весне в ауле начали есть ле-беду, корни, картофельные очистки и мёрзлую свёклу, остав-шуюся на колхозном поле.

Дети умирали и здесь.

К весне сорок пятого на краю аула, за последним плетнём, лежало больше сорока человек, и Зайнап знала в лицо почти всех. Земля там была твёрдая, солончаковая, и копать её зи-мой было нечем, поэтому копали, когда отходил мороз, — а до того клали в снег, в неглубокие ямы, обкладывали кам-нем, чтобы не достали собаки.

Весной, когда всё потекло, вода пошла через этот край, и могилы поехали.

Мужики ходили туда с лопатами и поправляли, и Зайнап ходила с ними, и они поднимали то, что подняла вода, и укладывали обратно, и никто не говорил ни слова, потому что говорить было нечего.

* * *

Местные относились по-разному.

Одни не подходили и запрещали своим детям. Другие приносили молоко и лепёшки и оставляли у дверей, чтобы никто не видел. Третьи говорили: «Это не наше дело, это начальство».

Марьям была из вторых и не скрывала этого.

Она была вдова, жила одна, держала корову и овец и говорила по-русски плохо, но понимала всё. Она ни разу не спросила Зайнап, за что их выслали, — а она спрашивала у неё однажды сама: «Ты не знаешь, за что нас?» — и Марьям ответила: «Не знаю. У нас тоже так было, давно. Нас тоже выселяли, при царе и при советской. Мы не спрашиваем».

* * *

А весной пришла беда похуже голода: тиф.

Его принесло с эшелона, который стоял на станции три дня, и по аулу он пошёл быстро, потому что жили тесно. Людей увозили в больницу, но больница была одна на три аула, и в ней лежало по двое на койке.

Зайнап не заболела. Она ходила за больными — носила воду, меняла тряпки, топила печи в тех домах, где все лежали, — и Марьям ругалась на неё и не пускала, и всё равно она ходила.

— Ты чего в чужой дом лезешь? — кричала Марьям.

— Я доярка, — говорила Зайнап. — Мне корову доить и человека обмыть — одно дело.

Из тех, кто жил в сараях по краю аула, после тифа осталось меньше половины.

Об Азраиле в коровнике говорили часто: что скот у него лучше совхозного, что дом один на весь аул под железом, что жена умерла от болезни, а детей не было. Кто-то добавлял, что характер у хозяина крепкий, и все понимали, что это значит.

Он приехал на ферму в конце апреля, со своими работниками, по делу о сене. Зайнап в это время поила телёнка и, наклонившись к нему, сказала что-то на родном, как говорят со скотиной, когда рядом никого.

Над ней и остановился голос:

— Ты откуда будешь?

Она выпрямилась. Перед ней стоял мужчина среднего роста, сухой, в сапогах и чистом пиджаке поверх рубахи, и держался прямо. Правый глаз его закрывала чёрная повязка, левый смотрел на неё, не мигая.

— Из Наьсаре, — сказала Зайнап и подняла ведро.

— Земляки, выходит, — он усмехнулся одними губами.

— Я Азраил. Меня тут знают. Тебя как звать?

— Зайнап.

— Зайнап, — повторил он, будто пробуя имя на вес. — Слышал про тебя. Мать, говорят, с дороги не довели.

В груди у неё стало тесно, как бывает, когда разговор идёт не о том, с чего его начали.

— Не надо со мной разговаривать, — сказала она.

Он не рассердился. Постоял ещё, разглядывая её, потом кивнул и пошёл к конторе, где ждали работники.

Зайнап выплеснула воду и вернулась в коровник. С этого дня она заметила, что знает в лицо его арбу и его собаку и что бабы при его имени умолкают.

* * *

Дня через три во двор Марьям зашёл работник Азраила, в стёганке, и, не поздоровавшись, сказал:

— Хозяин велел девчонке прийти. Поговорить.

Марьям доила корову, и ведро у неё в руках качнулось.

— Какой девчонке?

— Которая из Наьсаре. — Он кивнул на сарай. — К обеду пусть будет.

Калитка стукнула, и шаги стихли. Марьям ещё долго сидела на скамеечке, не выпуская сосков, и молоко тонкой струйкой стучало в подойник.

— Не пойду, — сказала Зайнап.

— Пойдёшь, доченька. — Марьям говорила тихо, глядя в землю. — Он не просит, он велит. Тут и я живу, и ты живёшь.

Зайнап хотела сказать, что терять ей нечего, и осеклась: терять было что. Сарай. Чугунок. Кусок хлеба по трудодням. Она повязала платок и вышла за калитку.

Дом был виден от околицы: единственная на весь аул крыша под железом. За плетнём металась на цепи овчарка, во дворе лежал порядок, какого Зайнап не видела здесь ни у кого: поленница уложена под линейку, под навесом стоял инвентарь, на земле не валялось ни клока соломы. Работник ждал её у ворот и только кивнул на дверь.

В доме пахло табаком и кожей. Комната была просторная, чистая и какая-то нежилая: стол под полотняной скатертью, зеркало в резной раме, кровать с никелированными шишками на спинке, сундук под навесным замком. На стенах не висело ничего, кроме ходиков, и они тикали громко, будто в доме никого не было, кроме них. Азраил сидел у окна, в пиджаке, без шапки; седые волосы были приглажены.

— Садись, — сказал он и подвинул ей табурет.

Она осталась стоять.

— Хозяин угощает, — он усмехнулся. — Ладно. Тогда смотри.

Он пошёл впереди, показывая дом. Горница, вторая горница, кладовая, где висели окорока и стояли мешки; в углу сундук, окованный железом. Было всё: посуда, ларь с зерном, керосин в большой бутылки, ставни на окнах, каких не было ни у кого в ауле. Одну дверь он открыл шире.

— Здесь твои покои. Всё, что нужно, будет здесь. Ты будешь моей хозяйкой.

Зайнап подошла к окну. За плетнями и крышами лежала степь, а в другую сторону шла дорога, и по ней уходили подводы.

— Я хочу домой, — сказала она. — Я хочу вернуться.

— Домой? — Он усмехнулся спокойно, будто ждал этих слов. — Это уже не твой дом. Твой дом теперь здесь. А я тебя не обижу. Будешь мне хорошей женой.

— Я не выйду за вас. Я люблю другого.

Глаз у него сделался холодным, как речная галька.

— Любишь. А кто даст тебе хлеба? Кто защитит? Где он сейчас? Война всё решила. А я здесь. И у меня есть всё.

— Мне от вас ничего не нужно, — сказала Зайнап, и голос у неё дрогнул.

— Пока не нужно. — Он отошёл к окну и встал от неё на шаг, как встают от чужой женщины. — Подумай. Осень придёт, а топить тебе будет нечем. У меня дров на три зимы, мука, керосин, коровы. Я никуда не спешу. Знаю, что обо мне говорят, пусть говорят. Тираны выживают, Зайнап, а слабые погибают. Ты будешь жить. Со мной.

Зайнап не ответила. Она вышла в сени, и работник подал ей платок, будто она его там забыла. Овчарка проводила её до калитки хриплым лаем; хозяин из дома не вышел.

В ауле её видели. Две женщины у колодца умолкли, когда она проходила, и заговорили снова, уже тише, и Зайнап поняла, что теперь про неё знают все.

Вечером в сарай пришла Марьям с лампой и села на порог.

— Ну что?

— Он сказал, что без него я здесь пропаду. — Зайнап лежала на матрасе, укрывшись с головой. — Что зимой топить будет нечем. Дров у него на три зимы, мука, керосин, коровы. Говорил тихо и не тронул меня ни разу.

Марьям долго молчала, потом переставила лампу с колена на пол.

— Азраил человек непростой. Его тут боятся, и не зря боятся. Он и не без греха, доченька. Не верь ему.

— А куда мне идти? — спросила Зайнап. — Что мне делать?

Марьям не ответила. Она поднялась и ушла к себе, и через стену было слышно, как она гремит заслонкой у печи.

* * *

Кончилось это на восьмой день.

Зайнап возвращалась с фермы и ещё от калитки слышала в доме чужие голоса. У плетня стоял конь под седлом, а в комнате сидели двое: один в кожаном шлеме и с бумагами на коленях, другой, в сапогах, стоял у двери и посматривал на её узел.

Марьям сидела на табурете, вцепившись в подол, и лицо у неё было мокрое. Деньги, вырученные за телёнка, лежали у неё в жестянке под матрасом. Жестянку нашли в сарае, за печкой, пустой.

— Вчера после обеда где была? — спросил человек в шлеме, не поднимая головы от бумаг.

— На ферме. Коров доила. — Зайнап смотрела на жестянку в его руках: та самая, из-под чая, с вмятиной на боку. Марьям держала в ней деньги и прятала под матрасом, в сарае жестянка не лежала никогда.

— В сарае твоём нашли. Отпечатки, так сказать, — он усмехнулся своей бумаге. — Вещи твои где?

Они вытряхнули узел на пол: две рубахи, ложка, сухая ле-

пёшка, книга. Книгу человек в шлеме полистал и бросил на матрас, и карточка отца выехала из страниц и легла лицом вниз.

— Я не брала! — сказала Зайнап, и голос сорвался. — Это ложь!

— Чего кричишь, — сказал тот, что стоял у двери.

Марьям заплакала в голос.

— Я... я сама не знаю... Он так сказал...

Зайнап обернулась к ней и всё поняла.

В это время за спинами закрипела дверь, и в комнату вошёл Азраил. Шапку он снял в сенях и держал её в руке; человек со шлемом встал и поздоровался первым.

Ему коротко объяснили, в чём дело. Он выслушал, не перебивая, потом посмотрел на Зайнап. Глаз у него был спокойный, как вода в колодце.

— Долг я за неё отдам, — сказал он Марьям. — А жить она будет у меня. В моём доме.

Он повернулся к людям в форме и добавил уже другим голосом, ровным и негромким, что подводить сироту под статью в такое время никому не выгодно.

Человек в шлеме закрыл папку.

— Как хотите. Дело ваше.

Зайнап стояла и смотрела на них. Она слышала, как под её ногами скрипят половицы, и как за стеной мычит корова, и как в голове у неё остаётся одна только мысль: другого пути нет.

— Что вы делаете? — спросила она.

Азраил проходил мимо и ответил негромко, так, чтобы слышала только она:

— Я тебя спасаю.

Она посмотрела на Марьям, на её мокрое лицо, на книгу, брошенную на матрас, и на карточку отца, лежавшую лицом вниз.

— Да, — сказала она тихо.

* * *

Свадьбы не играли.

Азраил надел чистую рубаху и накануне принёс в сарай узел: тёмно-синий ситец на платье, платок с каймой, новые чулки. Платье висело в боках, платок пах нафталином. Марьям смотрела, как Зайнап всё это меряет при лампе, и вытирала глаза, но не сказала ничего.

В сельсовете было накурено и холодно. Председатель, лысый, с пером в кулаке, долго вертел её бумаги и поглядывал на Азраила; в графе о летах поставил то, что было велено, и подтолкнул ей ведомость. Зайнап расписалась, не сбившись, и это оказалось самое простое из всего, что было в тот день.

Во дворе под навесом поставили стол. Пришли человек десять: старики в чистых халатах, работники, две соседки. Варили баранину, пили чай из пиал. Музыки не было и песен тоже. Зайнап сидела между Азраилом и старой женщиной, которую ей представили как тётку, и держала пиалу, к которой ни разу не пригубилась. Марьям постояла у плетня,

поглядела и ушла, не дождавшись конца.

Говорили о сене, о весеннем севе, о том, что вода в этом году будет поздняя. Потом старик с седой бородой поднял пиалу и пожелал хозяину сына, и все закивали; Зайнап смотрела в скатерть и думала о том, что в сарай ей теперь нельзя будет вернуться даже в гости.

К ночи гости разошлись.

* * *

Он погасил лампу. В комнате стало темно, и только из-за ставни лежала на полу полоса света.

Он снял с её головы платок. Потом стянул через голову платье, и ситец упал ей под ноги, и хозяин отступил на шаг и смотрел долго и внимательно, как смотрел в первый раз у коровника, когда остановился над ней и спросил, откуда она будет.

* * *

Утром Зайнап встала рано. За окном ещё синело, вода в ведре подёрнулась ледком. Она растопила печь, поставила чугунок, подмела полы, вынесла золу. Руки делали всё сами, а в голове было пусто и тихо.

Хозяин встал, когда завтрак уже стоял на столе. Он ел не спеша, поглядывая на её бледное лицо и синяки под глазами, и молчал. Зайнап тоже молчала. Потом она взяла ведра и пошла на ферму.

В коровнике новость уже знали. Бабы косились на неё, кто с завистью, кто с жалостью, и одна спросила нарочно громко,

как теперь в хоромаш живётся. Зайнап не ответила и взялась за подойник. Коровы, навоз, силос, приёмный пункт: утро прошло как всякое другое утро, только обратно она бежала.

Дома её ждали коровы, куры, вода из колодца, ужин. К вечеру она валилась с ног, а работы всё не убавлялось.

* * *

Азраил сидел за столом и ел. Зайнап поставила перед ним чугунок и тарелку, подала лепёшки, подлила чаю и собралась идти к печи, но он отодвинул еду.

— Где мои рубашки? Не глажены.

— Я только пришла с фермы, — сказала Зайнап.

— Ты моя жена! — крикнул он и стукнул ладонью по столу так, что чашка подпрыгнула. — Ты должна всё делать. Или ты хочешь, чтобы я тебя высек?

Зайнап посмотрела на него, на его крупные сухие руки, лежавшие на скатерти, и пошла в кладовую за утюгом. Угольный утюг долго грелся на печи; она расстелила на столе рядном, налила в утюг угли и стала гладить. Рубашки были из хорошего полотна, каких она в жизни не гладила.

Она гладила до темноты. Он ушёл спать, не сказав ей ни слова, а она всё стояла у стола и водила тяжёлым утюгом по воротнику, и полотно под ним делалось гладким и блестящим.

* * *

Год шёл за годом, и дни стали похожи один на другой.

Провинность находилась всегда: разбитая чашка, остывший чай, плохо подметённый двор, телёнок, которому не дали вовремя пойла, рубашка, у которой не так легла складка. За всё было одно и то же. Он не кричал и не торопился: снимал с гвоздя у двери ремень, делал своё дело молча и вешал ремень на место. Потом дом стоял тихий, как всегда.

Зайнап научилась не плакать при нём: слёзы она считала дерзостью, а хозяин дерзости не прощал. Она стояла и терпела, а после шла к колодцу и долго тёрла лицо холодной водой, пока не сходила краснота.

Работы было на трёх баб: хозяйские коровы и куры, вода, стирка на весь дом, хлеб, дрова, сено, а сверх того совхоз, куда она по-прежнему ходила за доярку. Спала она часов по пять и к концу второго года стала похожа на собственную тень: худая, молчаливая, с воспалёнными глазами.

Соседки её жалели. У колодца вздыхали, качали головами, одна, помоложе, как-то сунула ей в руку лепёшку с сыром и тут же оглянулась, не видел ли кто. Но помочь не смел никто. Азраила в ауле боялись пуще милиции: у него водились деньги и знакомые в районе, и об этом знали все. Кто вступился бы, у того к утру нашлась бы беда: то скотина затопчет чужой посев, то пропадёт казённое зерно, то вызовут в район по бумаге. Помощь Зайнап обошлась бы дороже, чем она стоила, и это тоже понимали все. Её утешали одним словом: «Терпи».

Марьям, которая могла бы сказать за неё слово, сама тряс-

лась от страха. Она стала заходить редко, приносила в узелке сыр или лепёшки, говорила шёпотом, стоя у порога, и уходила, не присев. Однажды она сказала: «Кто бы помог, доченька...» — и не договорила.

Ночи были хуже дней. В своей комнате, за стеной от хозяйина, Зайнап ложилась лицом в подушку и плакала навзрыд, уткнувшись в неё, чтобы не слышали; подушка становилась мокрой насквозь, и к утру глаза заплывали. Всё чаще, лежа без сна, она думала не о том, как убежать, а о том, чтобы утро не наступило. Она смотрела в тёмный потолок и просила, чтобы всё это кончилось само. Потом вспоминала мать на досках в вагоне — та ещё дышала, и Зайнап отвечала ей шёпотом, — и злилась на себя за эти мысли.

Так прошло два года.

* * *

И в ту зиму Зайнап поняла, что беременна.

Сначала её мучило по утрам от запаха керосина, и она думала, что надорвалась на сене. Потом догадалась и до вечера боялась поднять глаза: ей казалось, что по лицу видно. Спать она легла рано, отвернувшись к стене, и всю ночь пролежала с ладонью на животе. Утром сделала всё, что всегда: подоила, подмела, поставила чай. Азраил ничего не заметил.

Он узнал о ребёнке на четвёртом месяце, от баб, как узнавал обо всём в ауле. Вечером он сел за стол, долго смотрел на неё, потом сказал:

— Ну, родишь.

Больше он об этом не говорил, и Зайнап до самых родов не сказала никому, даже Марьям.

Родила она в конце зимы, в ночь, когда мело так, что из окна не было видно плетня. Рожала одна, в комнате с ходиками, а хозяин спал за стеной. Утром он вышел к столу, посмотрел на младенца, завёрнутого в старую нательную рубашу, и велел зарезать ягнёнка. Ремень с гвоздя он убрал в кладовую.

Зайнап не могла на него надышаться. Она подолгу смотрела на его растопыренные пальцы, на пушок на голове; когда он спал, она прикладывала ухо к его груди и слушала, как часто и ровно там всё стучит. С ним она перестала думать о том, чтобы утро не наступило.

К лету её погнали на уборку. Марьям с рассвета тоже уходила в поле, оставить сына было не с кем, и Зайнап носила его с собой. Она стелила ему под скирдой старую кофту и бегала через полосу: то грудь дать, то отогнать мух, то поправить тряпицу.

Жара стояла такая, что к обеду небо делалось белым, как зола. Мальчик дышал тяжело и часто и весь покрывался потом. Зайнап обтирала ему лицо углом платка и шептала, чтобы не слышали жницы:

— Сынок... держись.

По краю поля проехал на арбе Азраил; рядом с ним сидел бригадир, оба о чём-то говорили. Он смотрел поверх снопов, будто её тут не было, и она его не окликнула.

* * *

Дома сын не взял грудь. Голова и ладошки у него горели, он дышал так, будто ему на грудь положили камень, и не плакал, только перебирал пальцами.

Зайнап пошла в комнату хозяина.

— Азраил. Вставай. Он горит! Ему плохо!

Он поднялся на локте, посмотрел на неё, потом на сына у неё на руках.

— Оставь его. Завтра посмотрю.

— Он умирает! — крикнула она.

Азраил отвернулся к стене и через минуту задышал во сне тяжело и спокойно.

Зайнап просидела с ним до света. Она меняла ему на голову мокрую тряпку, поила с ложечки водой и пела под нос песню, которую певала над ней мать. Перед рассветом дыхание у него сделалось мелким, как у ласточки.

Она ещё долго носила его по комнате, прижав к груди, и уговаривала, и только когда в окне стало светло и она увидела его лицо, всё поняла.

Она вышла во двор. Солнце поднималось, хозяин ещё спал, и Зайнап стояла на пороге с сыном на руках и смотрела, как розовеет плетень.

Хоронили его на другой день, на краю аула, где лежали чужие старики, и Азраил ушёл с кладбища раньше всех. До дома Зайнап шла одна.

* * *

После него детей больше не было. Сначала Азраил молчал об этом, потом начал говорить. Он говорил за столом, спокойно, как о погоде.

— Видишь? Бесплодная. Никому не нужна.

Зайнап смотрела в свою тарелку и молчала.

Потом в доме стали появляться чужие женщины. Азраил приводил их вечером, иногда по одной, иногда с работниками, и велел накрывать на стол. Зайнап подавала им чай, резала баранину, а потом уходила к себе; утром она мыла посуду после них и открывала окна, чтобы выветрился табак. В ауле об этом не говорили с ней ни слова, и она тоже молчала.

Шли годы. В доме ничего не менялось: коровы, вода, дрова, ужин, ночи в подушку. Зайнап сперва перестала считать года, а потом перестала и замечать их.

* * *

Дурнота началась на покосе.

Утром она наклонилась над подойником, и её повело так, что молоко пошло мимо, на солому. Доярка рядом сказала, что это от жары, и дала попить. На другой день повторилось, и на третий тоже. Тогда Зайнап села на чурбак и стала считать — выходило, что уже второй месяц.

Она не сказала никому. Днём работала как всегда, а вечером, когда хозяин уехал к соседу, села в своей комнате на пол, у кровати, и положила обе ладони на живот.

— Ребёнок, — сказала она в темноту. — Мой ребёнок.

И тут же вспомнила другое: скирду, белое небо, рубаху,

которой она обтирала ему лицо, и то, как он дышал у неё на руках всё мельче и мельче. Второго такого ей было не пережить. Она сидела на холодном полу и понимала, что если останется, будет то же самое: поле, зной, чужие люди, которые боятся помочь, и хозяин, который поворачивается к стене. Уходить надо было теперь, пока не видно, пока она может идти.

Той ночью она вспомнила того, о ком не вспоминала годами: его голос, как он звал её по имени, как пахли его руки. Жив ли он и где он, она не знала. Но другой дороги у неё не было.

Собиралась она неделю, понемногу, чтобы никто не заметил. Отложила в узел кусок хлеба, горсть сушёного сыра, спички, варёное яйцо, тёплые носки. В книгу, между страниц, к карточке отца положила ещё одну карточку, свою и его, снятую до войны у плетня. Всю неделю она подкармливала хозяйскую овчарку: бросала ей кости и корки, и собака уже не рычала, а виляла хвостом.

Ждала она той ночи, когда Азраил уедет в район: в конце месяца он всегда уезжал за товаром и брал с собой двух работников.

Уехал он в четверг. Двор к вечеру опустел. Зайнап выждала, пока в ауле погаснут огни, накинула на плечи старое одеяло, взяла узел и вышла.

Луна стояла высоко и светила так, что было видно каждую травинку у плетня. Овчарка подняла голову, звякнула

цепью и опять улеглась; Зайнап прошла вдоль стены, мимо сарая, мимо колодца, где всё ещё скрипела журавлём соседка, и вышла на дорогу.

Сначала она шла, потом побежала. Дорога была пыльная, белая, и по обе стороны от неё лежала степь. Аул за спиной становился меньше, потом стал просто тёмным пятном, потом пропал.

— Я бегу, — шептала она на бегу. — За жизнью. За ним.

К свету она прошла не меньше двадцати вёрст. Ноги у неё стёрлись в кровь, в горле пересохло, и дурнота подступала волнами. Один раз она села на камень у дороги, выпила из фляжки всю воду и пошла дальше; потом вода кончилась совсем.

Уже перед рассветом степь сделалась серой, ветер пошёл низом и погнал по дороге пыль. Зайнап шла и считала шаги, чтобы не думать о ногах. На повороте дорога раздвоилась: одна уходила к станции, другая — за холм, к другим аулам. Она остановилась, посмотрела на обе и выбрала ту, что шла за холм.

Она сделала несколько шагов и упала на землю, и степь закачалась у неё перед глазами и стала тёмной.

* * *

Очнулась она в комнате, где было тепло и пахло молоком и сухой травой. Потолок был низкий, выбеленный; под ней лежал матрас, а поверх — чистое, хоть и латаное одеяло. На табурете стояла плошка с водой, и вода была налита до краёв.

Она попробовала сесть, и всё поплыло.

— Очнулась, дочка? — Женщина лет сорока пяти, в платке и стёганом халате, сидела у изголовья. — Ты была без сил. Мы тебе помогли.

— Спасибо... — Зайнап сказала это и сама услышала, как слабо звучит её голос. — Кто вы?

— Да кто мы. Живём тут за холмом. Увидели тебя на дороге, не могли бросить. Мужики на арбе привезли.

Ноги у неё были обмотаны чистыми тряпками; женщина уже промыла их и смазала чем-то жирным. Зайнап потрогала тряпки, потом спросила тихо:

— Это какой аул?

— Аул наш. Тебя тут никто не знает. — Женщина посмотрела на неё внимательно, и Зайнап испугалась, что сейчас пойдут расспросы.

Расспросов не было. Женщина подала ей чашку с молоком и велела лежать.

Лежала она два дня. На третий встала и стала помогать: подоила корову, подмела двор, принесла воды. Её гнали обратно, но она не слушалась. Женщина поглядывала на её живот и ничего не спрашивала; один раз только сказала: «Ешь больше, доченька. Тебе не одной теперь».

* * *

Вечером её позвали за стол.

В доме жили вчетвером: старик с седой бородой, его жена, та самая женщина, их сын с женой и двое ребятишек. Из

посуды была одна большая чашка на всех; лепёшки пекли на золе, чай пили с молоком. Зайнап села с краю и положила руки на колени.

Старик спросил, откуда она и куда шла. Она рассказала коротко: Ингуши, февраль, теплушка, мать, станция. Про хозяина в ауле сказала только, что вышла замуж за одного человека и что его больше там нет. Её не спрашивали дальше. Старик покачал головой и пододвинул ей лепёшку.

— Ешь, — сказал он. — Поешь, потом говори.

Когда убрали посуду, Зайнап сказала:

— Вы меня спасли. Я этого не забуду. Но я должна идти дальше.

Старик отставил чашку и посмотрел на неё поверх огня.

— Мы понимаем. Если нужна помощь, скажи.

Она попросила немного еды на дорогу и чтобы её не искали. Старуха тут же собрала ей узелок: лепёшки, сыр, горсть соли, спички. Старик вывел её за плетень и показал рукой, куда идти: за холм, потом по дороге до развилки, а оттуда — на большак, где ходят машины.

— Про тебя мы никому не скажем, — сказал он. — Иди с Богом.

* * *

Уходить она собралась ночью. Её не удерживали и не провожали далеко; старуха только сунула ей в руки свой старый платок и постояла на пороге, пока Зайнап не скрылась за углом.

Она шла по знакомым и разом чужим дорогам: тут были такие же плетни, такие же плоские крыши и такие же колодцы, как в её ауле, только здесь у неё не было ни одного человека.

Мысли остались одни и те же. Мальчик, лежавший у неё на руках. Хозяин, отвернувшийся к стене. И Султан, которого она не видела уже сколько лет и который, может быть, давно мёртв.

— Я тебя найду, Султан, — сказала она вслух. — Живой или нет, а найду. Ты моя последняя надежда.

Дорога поднималась на холм. За холмом лежала степь, серая, просторная, и впереди, в темноте, шумел большак.

* * *

Её искали.

Азраил вернулся из района в субботу, к вечеру увидел пустую комнату и не стал ни кричать, ни метаться. Он сел на коня и поехал по дорогам. У него водились деньги и знакомые в районе и в двух аулах, и на третий день у всех колодцев, на станах и на разъездах спрашивали про молодую женщину с узлом, из ссыльных, ингушку.

Зайнап ничего этого не знала. Она шла два дня и две ночи, спала в копнах и под мостом, ела лепёшки из старухино-го узелка и пила воду там, где её давали. К вечеру третьего дня она вышла на большак и увидела впереди разъезд: водокачку, будку стрелочника, три пути и кучи шпал.

Поезда здесь останавливались редко, но она решила

ждать. Она села на завалинку у будки, положила узел на колени и стала смотреть на рельсы, блестящие в закатном свете.

Долго сидеть ей не пришлось. Пыль встала на дороге со стороны аула; к разъезду шла арба, за ней ехали верховые. Люди у будки разом замолчали, и стрелочник ушёл внутрь, будто у него нашлось дело.

Зайнап узнала его раньше, чем увидела. Арба поравнялась с кучей шпал, и с неё тяжело сошёл Азраил, в дорожном пиджаке и с пылью на сапогах. Левый глаз его смотрел на неё спокойно, как на скотину, которая всё-таки вернулась к своему плетню.

— Здравствуй, Зайнап, — сказал он.

Она встала. Ноги у неё были стёрты в кровь, и она всё равно готова была бежать, а бежать было некуда: позади степь, впереди люди.

— Садись в арбу.

— Не поеду.

— Поедешь. — Он сказал это без угрозы, и от этого стало страшнее. — Тебя за холмом подобрали. Я знаю, у кого. Я с ними поговорил.

Зайнап посмотрела на его сухие руки, на работников, стоявших у арбы, и на стрелочника, который не вышел. Потом положила узел в арбу и села.

* * *

Пока они ехали он не сказал ей ни слова. Он сидел рядом,

держал вожжи и смотрел на дорогу; она сидела, поджав ноги, и смотрела на его сапоги. Арба скрипела, и колёса шли по пыли так, что за ними тянулся белый хвост.

В аул они въехали к ночи. У плетней стояли женщины и молча смотрели, как арба проходит мимо; одна закрыла лицо платком.

Дома он не стал разговаривать. Он отвёл её в её комнату, снял с гвоздя ремень и наказал так, что она до утра лежала лицом вниз и не могла повернуться. Потом ушёл к себе, и в доме стало тихо.

Утром она встала, как всегда, и подоила коров, и подмела двор, и поставила ему чай, хотя руки не слушались. Он ел молча, потом отодвинул чашку.

— Ещё раз убежишь, — сказал он, — поедешь в район. Там тебя оформят как бродягу, и я за тебя платить не буду. Ты поняла?

— Поняла, — сказала Зайнап.

Больше он об этом не говорил. Но с того дня он стал за-пирать калитку на ночь и велел одному из работников спать в сених; а Марьям перестала приходить совсем.

Зайнап никому не сказала про ребёнка. Она знала: скажет — и её будут стеречь, как кобылу, а если родится не тот, кого он ждёт, ему будет всё равно, кто виноват. Вечерами она уходила в свою комнату, ложилась и держала ладонь на животе.

Она сказала себе, что теперь ей нельзя умереть.

* * *

Осень прошла, и дни пошли те же: коровы, вода, дрова, ужин. Только теперь у калитки ночевал работник, и Зайнап знала, что ночью её никто не выпустит.

Живот она прятала. Днём подвязывалась платком потуже и надевала широкий халат, оставшийся от Марьям; утром, когда мутило, выходила во двор будто за водой и её рвало за плетнём. Хозяин молчал до самого снега.

Сказал он об этом вечером, без предисловий. Сидел за столом, смотрел, как она ставит перед ним чугунок, и вдруг сказал:

— Ты на сносях.

Зайнап замерла, не выпуская чугунок из рук, и не ответила ни да, ни нет.

— Молчишь, — он отхлебнул чаю и поставил чашку. — Ладно.

И всё. Он не ударил её и не закричал. Он стал другим. На другой день в дом пришла старуха-повитуха, долго щупала ей живот и что-то считала по пальцам, а Азраил сидел рядом при лампе и слушал. На ферму Зайнап больше не пустили: за доярку пошла другая, а ей оставили дом и коров. Ей выдали тёплый платок, валенки по ноге, и в кладовой для неё стал появляться сыр.

— Родишь сына, — сказал он как-то, — будет тебе жизнь.

Зайнап опустила глаза. Она поняла, что ребёнок теперь не её.

Жила она с того дня как чужая вещь: сыто, тепло и под

присмотром. Повитуха заходила каждую неделю; воду из колодца ей носить запретили, и работник таскал в дом по два ведра. Азраил перестал приводить чужих женщин, и в доме стало тише, чем за все годы.

Одно только и было ей отрадой. У колодца она как-то увидела Марьям: та стояла в стороне с ведром и смотрела на неё, и лицо у неё было мокрое. Зайнап сказала ей одними губами: «Я не сержусь». Марьям часто-часто закивала и ушла, оглядываясь.

А по ночам, когда в доме всё затихало, Зайнап лежала и разговаривала с ним шёпотом.

— Ты только родись, — говорила она. — А дальше я сама. Я тебя отсюда увезу. Только родись.

Она стала послушной. Такой послушной, что хозяин перестал на неё смотреть, а ей это и было нужно. Она делала всё, что велят, и ждала зимы, когда всё решится.

* * *

Рожать она начала в январе, под утро. Повитуха пришла сразу, с ней ещё две старухи, и печь топили так, что в горнице стало жарко. Азраил не спал: он сидел у себя и курил, и через стену слышно было, как он кашляет.

Зайнап лежала на своей кровати и считала такты ходиков, как считала в первый раз. Только тогда она была одна, а теперь вокруг неё ходили и говорили. Ей было страшно не от боли; она всё время возвращалась в то утро, когда сын лежал у неё на руках и не дышал.

— Ты мою руку держи, — сказала повитуха. — И не робей, девка, у тебя кость хорошая.

К полудню она родила. Ребёнок закричал тонко и сердито, и Зайнап в первый миг не поняла ничего, кроме того, что он кричит.

Повитуха обтёрла его и положила ей на грудь.

— Ну вот. Дочка.

Дочка была маленькая, красная, с чёрным пушком на голове, и держала кулачок у самого лица. Зайнап лежала и боялась шевельнуться.

Азраил вошёл, когда её обмыли. Он постоял у кровати, посмотрел на свёрток у неё на груди и ничего не сказал. Губы у него сжались, и борода пошла набок.

— Девка, — сказал он наконец.

И вышел.

С этого дня всё вернулось на своё место. Повитуху больше не звали, сыр в кладовой для неё пропал, и через две недели Зайнап снова пошла на ферму к коровам. На девочку хозяин почти не смотрел; когда та кричала ночью, он стучал костяшками пальцев в стену и требовал унять.

Имени ей долго не выбирали: Азраил махнул рукой, и Зайнап звала её просто дочкой.

Спала она в ящике из-под муки, выстланном старой кофтой, и Зайнап вставала к ней по ночам. В этих ночах ей впервые за годы некогда было думать о том, чтобы утро не наступило.

А хозяин между тем стал следить за ней послабже: работник из сеней перебрался к себе, и калитку на ночь больше не запирали. Девка в доме, при ней ребёнок на руках; далеко такая не уйдёт.

Зайнап это заметила. С того дня она начала собираться. сушила на печи сухари, откладывала по куску сыра, разузнала у баб на ферме, какая дорога куда идёт и где стоят колодцы. Один раз, осторожно, она спросила у ссыльной чеченки, не слыхала ли та про Султана из их аула. Женщина долго молчала, потом сказала, что многие ушли на фронт и многие не вернулись, и что спрашивать об этом надо в районе.

Куда идти, Зайнап не знала. Но знала твёрдо, что не останется. Теперь у неё была дочь, и уходить надо было вдвоём.

* * *

В феврале Азраила вызвали в район на три дня, и в первую же ночь под окном её тихо позвали по имени.

Она вышла. У плетня стояла Марьям, в накинутом на голову платке, и от неё пахло морозом.

— Не бойся. Я на минуту. — Марьям оглянулась на тёмные окна. — Я тебе должна сказать, пока меня саму не стало.

Зайнап молчала.

— Деньги те были не твои. И уж точно не мои. — Марьям говорила шёпотом, сбиваясь. — Он пришёл ко мне вечером, один. Сказал: завтра пойдёшь и скажешь, что девка украла твои деньги. Я спрашиваю: какие деньги, Азраил-ага? А он вынул из кармана те самые три сотни, что я за телёнка взяла,

и положил передо мной. Он их сам из-под матраса вытащил, пока я за водой ходила, а жестянку потом в твой сарай поставил, за печку. Я всё видела и молчала.

— Зачем? — спросила Зайнап.

— Чтобы ты пошла за него. Он так и сказал: мне эта девка нужна, а по доброй воле она не пойдёт. — Марьям заплакала. — Он обещал, что тебя не тронут, что дело закроют и что мне деньги вернут с добавкой. Я старая, доченька. Я испугалась. Мне тут жить, и корова у меня одна.

Зайнап стояла и слушала. Внутри у неё сделалось очень тихо. Она вспомнила, как тогда стояла в комнате и смотрела на карточку отца, лежавшую лицом вниз, и как сказала «да». Из-за трёх сотен. Из-за жестянки из-под чая.

— Он тебе отдал?

— Отдал. Больше, чем было. И корову не забрал, я думала, заберёт.

— Ты знала, как он со мной живёт?

— Знала.

— И молчала.

— Молчала. — Марьям вытерла лицо рукавом. — А ты меня не прощай. Не надо.

Зайнап посмотрела на неё: на старуху, у которой тряслись руки, на её платок, на снег под её валенками. Злобы у неё не было, и жалости тоже. Было другое, холодное и ясное, как утро.

— Иди домой, — сказала она. — И вот что запомни: те-

перь ты мне должна.

Марьям часто-часто закивала, как тогда у колодца, и ушла, пригибаясь у плетня.

Дома Зайнап села на пол, у ящика, где спала дочка, и присидела так до света. Она думала не о Марьям. Она думала о том, что человек, который однажды положил в чужой сарай жестянку, чтобы взять её себе, не отдаст ей ни себя, ни дочь. С таким не спорят и не бегут очертя голову.

Уходить надо было так, чтобы он узнал об этом последним.

* * *

Зима тянулась медленно. Зайнап работала, молчала и приглядывалась.

Она изучила хозяина, как изучают погоду. В конце каждого месяца он уезжал в район на два или три дня и брал с собой работников; по понедельникам с утра уходил к бригадир; по субботам до полуночи сидел у соседа, и оттуда его привозили. Она знала, где он держит деньги, где ружьё, где ключи, знала, что собака теперь ходит за ней по двору, потому что кормит её она.

Дочка росла. Зайнап выучилась делать всё одной рукой: и доить, и месить, и воду носить, а другой придерживала ребёнка у груди. Повитуха посмотрела девочку, сказала, что та крепкая, и ушла; больше её не звали.

В конце февраля Азраил вернулся из района довольный, сел за стол и сказал:

— По весне поедem с тобой в сельсовет. Запишем девку. И тебе бумаги выправлю, как жене.

Зайнап опустила глаза и ответила:

— Хорошо.

А ночью лежала и считала. Пока она без бумаг, её нет ни для кого, кроме него; а как запишут, её будут искать по всей области, и с ребёнком на руках далеко не уйдёшь.

Ждать было нельзя. Весной начнётся сев, её погонят в поле, дочку оставлять станет не с кем, а по аулам пойдут люди с бумагами. Уходить надо было в тот месяц, когда он уедет.

Собиралась она неделю. Сшила из старой наволочки сумку, положила в неё сухари, кусок сыра, соль, спички, три тряпицы на пелёнки, стёганую кофту и книгу с карточками. Держала сумку в сарае под старой кошмой. На ночь, когда все спали, выносила во двор по куску хлеба и сушила на печи новые сухари.

В среду хозяин снова собрался в район: утром запрягли арбу, работники положили мешки, и к обеду во дворе стало пусто. Зайнап доила коров и смотрела, как арба выезжает за плетень. Она не обернулась ему вслед, чтобы не сглазить.

Весь день она делала всё, как всегда: подоила, подмела, сварила, поставила ему ужин — на случай, если вернётся, — а сама ничего не ела. Дочку накормила досыта, завернула в тёплую тряпицу и привязала к себе под халат, так что её и видно не было.

В полночь в ауле погасили огни.

Зайнап вышла в сени, оттуда во двор. Собака подняла голову, звякнула цепью и опять легла. Снег под ногами скрипел, но мороза не было: шла оттепель, и в темноте пахло весной. Она прошла вдоль плетня к калитке, отворила её тихо, без стука, и вышла на улицу.

У поворота стояла Марьям. Она ждала, привалившись к плетню, и в руках у неё был узелок.

— Не кричи, — сказала она шёпотом. — Я тебя не видела. Вот, возьми, тут лепёшки и сыр, творог. — Она посмотрела на халат, под которым спала девочка. — Дай Бог дойти.

— Спасибо, — сказала Зайнап.

— Иди, доченька. И не оглядывайся.

Зайнап кивнула и пошла.

Она не оглядывалась. За спиной остались тёмные плетни, колодец, дом под железной крышей, который был виден даже в темноте. Она шла по той же дороге, что и год назад, и ноги помнили её наизусть; только в этот раз она шла не бегом и не наугад.

Шла она на восток, к большаку, а оттуда — в район: там железная дорога, там спрашивают про людей, там, говорили, живут разные конторы, где можно спросить про своих.

Через час она села у столба, чтобы передохнуть, и расстегнула халат. Дочка спала, дышала носом и не проснулась.

— Ну вот, — сказала ей Зайнап. — Мы ушли.

Она встала и пошла дальше.

* * *

Взяли её на другой день, к полудню, за холмом.

Она увидела арбу раньше, чем слышала: белый хвост пыли над дорогой. Зайнап сошла с обочины и побежала в степь, прижимая дочку обеими руками, но степь была ровная, как стол, а у них были кони. Первый работник догнал её через сотню шагов.

Она упала на колени и согнулась над ребёнком, чтобы его не задели.

Азраил шёл к ней пешком, не торопясь. Он не кричал и не ругался; он остановился над ней, посмотрел и сказал одно слово:

— В арбу.

он не сказал больше ничего. Дочка плакала, и Зайнап кормила её при всех, а работники смотрели в сторону.

Во дворе их уже ждали. Повитуха стояла у крыльца, и за плетнём у соседей стояли женщины.

Азраил слез с арбы, снял с гвоздя ремень и велел повитухе взять девочку. Зайнап вцепилась в ребёнка, но её разжали. Она не кричала, чтобы не пугать дочку, и слышала только, как та кричит в чужих руках.

Бил он её молча и долго, не разбирая, куда: по спине, по бокам, по рукам, которыми она закрывала голову. Она упала на землю, и тогда он бросил ремень и велел работникам оттащить её в сарай.

Сарай был тот же, в котором она когда-то нашла свой угол: та же солома, та же дверь на деревянной засовке. Только за-

совку теперь прибили снаружи и навесили замок.

Она лежала на соломе и слушала, как в доме затихает плач.

Первый день ей не дали ни еды, ни воды. На второй принесли в плошке воду и лепёшку и поставили у порога, не сказав ни слова; она узнала руку Марьям и заплакала в первый раз.

Молоко у неё пропало на четвёртый день. Она лежала и давила грудь руками, и всё равно ничего не было; и от этого ей было хуже, чем от спины.

На пятый день Азраил отворил дверь и стал на пороге. Она подняла голову.

— Девка у повитухи, — сказал он. — Жива. Её поят козьим молоком из рожка, спит она в зыбке. За ней смотрят.

— Отдай мне её, — сказала Зайнап.

— Отдам. — Он смотрел на неё сверху, и левый глаз его был спокоен. — Как станешь как надо.

— Что мне делать?

— Работать. Молчать. И чтоб я больше не слышал ни про какую дорогу.

Он вышел и задвинул засов.

Зайнап сидела на соломе и смотрела на дверь. Она думала о том, что дочку поят из рожка и что та уже, наверное, забыла её руки. К вечеру она услышала во дворе детский крик: повитуха прошла с девочкой на руках мимо сарая, к колодцу, и обратно. Зайнап встала, вцепилась в дверь, нашла щель

в досках и стала смотреть: старая несла её дочку, прижимая к себе, и ничего не слышала.

Она простояла у щели, пока не стемнело.

* * *

На шестой день её выпустили.

Утром загремел засов, работник молча поставил у двери ведро воды и велел идти доить. Спина не разгибалась, и первые дни Зайнап ходила, держась за плетень. Работы ей стали давать больше прежнего: дом, коровы, дрова, вода. К вечеру она валилась на солому, и за ней снова гремел засов.

Так прошёл месяц.

Говорить ей было не с кем. Марьям приносила еду и убегала; соседки перестали выходить к колодцу, когда она там. Только один раз, на прополке, ссыльная чеченка сказала ей через грядку: «Терпи, сестра. Всех нас тут держат», — и больше не сказала ничего.

Азраил иногда сам проверял её. Подходил во дворе и стоял.

— Никуда не собираешься?

— Нет.

— Скажи как надо.

— Я не убегу.

— Хорошо, — говорил он и уходил.

В конце апреля он велел наколоть дров у повитухи и послал её туда. Зайнап наколола, воды принесла, а потом заглянула в дом. Девочка лежала в зыбке, в шапочке с монетками,

и сосала палец. Зайнап наклонилась над ней и позвала её по имени, которого у неё всё ещё не было. Девочка посмотрела на неё и заплакала — так, как плачут на чужих.

* * *

Перед сенокосом Азраил отворил дверь и кликнул её. У крыльца стояла повитуха с девочкой на руках.

— Держи, — сказал он. — Только помни, что я тебе сказал.

Зайнап взяла дочку. Та была тяжёлая, тёплая и пахла чужим домом: козьим молоком, дымом и старой тряпкой. Она сначала заплакала, потом затихла и стала её разглядывать.

Вещи из сарая перенесли в её комнату, в дом. Калитку с того дня опять запирали на ночь, и в сенях снова спал работник.

С того лета в доме стало иначе. Зайнап работала, молчала и не поднимала глаз; хозяин был ею доволен. Девочка спала в ящике из-под муки, потом в зыбке, которую ей сделал сосед за два трудодня; она ползала по полу, потом начала ходить за матерью, держась за подол.

И только ночами, когда в доме все спали, Зайнап лежала с дочкой под боком и думала. Не о дороге и не о побеге: про это она запретила себе думать. Она считала, сколько дочке месяцев, и какие у неё стали руки и ноги, и как она растёт. Время шло, и когда-нибудь девочка пойдёт сама.

* * *

Прошло два года.

Дочка росла во дворе: бегала босиком, разговаривала с курами, собирала в подол камешки и пряталась за плетнём, когда во двор выходил хозяин. Азраила она боялась тихо, не по-детски: скрипела дверь, и она умолкала и садилась на пол. Зайнап её этому не учила, она и сама так делала.

Хозяин старел. Ему шёл седьмой десяток; ходил он тяжело, по утрам долго кашлял, и в единственном глазу у него появилась муть. Но власть его от возраста не слабела: женщин он по-прежнему, хоть и редко, приводил, в доме держал порядок и разговоров не терпел. Зайнап выучилась молчать так, что её перестали замечать. Она делала всё, что велят, и её оставили в покое.

Как-то он застал девочку у стола со счетами; она водила по костяшкам пальцем и что-то шептала под нос. Он постоял, посмотрел и сказал:

— Считает.

Больше ничего не сказал и вышел.

Марьям к тому времени совсем сдала: видела плохо, из дома почти не выходила. Зайнап иногда заносила ей хлеб и соль, когда хозяин посылал за чем-нибудь, и старуха хватала её за руку и всё пыталась что-то сказать, но слёз у неё уже не было, а слов не находилось.

Зайнап думала об одном. По ночам, когда в доме затихало, она лежала и слушала за стеной его кашель и думала: он не вечен.

* * *

В ту зиму на ферме начали говорить другое. Сперва шёпотом, потом в голос: в районе меняют бумаги; в комендатуру стали звать реже; некоторым уже пришли письма из дома; а один ссыльный будто бы получил разрешение и уехал к родне.

Зайнап слушала и не верила. Но в субботу в аул приехал ссыльный из соседнего совхоза, и в коровнике при всех сказал: теперь, кто хочет, может спрашивать про своих. В районе на это есть человек, который ведёт списки.

Она ходила вокруг этого разговора неделю, а потом дождалась, когда тот ссыльный остался у колодца один, и спросила: не слыхал ли он про Султана из Наьсаре, из тех, кого выслали в сорок четвёртом.

Он покачал головой.

— Про многих слыхал, — сказал он. — Про такого не слыхал. Но я в район поеду на той неделе, спрошу у писарей, они там всяких знают.

— Спроси, — сказала Зайнап.

Ночью она достала из книги карточки. Отцову она помнила хорошо, а на второй, где они стояли у плетня вдвоём, лицо Султана с годами стёрлось: она уже не могла вспомнить его, не глядя.

Она держала карточку в руках долго. Потом положила обратно в книгу и решила, что с этого дня будет спрашивать всякого, кто куда-нибудь едет.

* * *

На следующее утро Азраил сидел за столом, а девочке было велено сидеть тихо. Она всё-таки вертелась: пока Зайнап наливала ему чай, девочка споткнулась о порог и выронила кружку на пол.

Кружка разлетелась на мелкие черепки. В доме стало так тихо, что слышно было, как за стеной пережёвывает жвачку корова.

Азраил не закричал. Он поставил свою пиалу, посмотрел на черепки, потом на девочку, и, не сказав ни слова, пошёл к гвоздю у двери.

— Она не нарочно, — сказала Зайнап. — Она маленькая. Я тебе достану такую же, я в район схожу, попрошу.

Он снял ремень и сложил его вдвое.

Девочка попятилась к печи и смотрела на него, на его руку с ремнём, и не плакала: её научили молчать.

Зайнап стала между ним и дочкой.

— Бей меня.

Он отстранил её рукой, как отстраняют ветку, взял девочку за руку и вытащил её на середину горницы. Он бил недолго и с расчётом: три раза по спине и два по ногам. Она всё-таки закричала, коротко и тонко, и от этого крика у Зайнап в глазах стало бело.

Нож лежал тут же, на столе, у лепёшки: она резала хлеб и не убрала его.

Она не помнила, как взяла нож. Помнила только, как ока-

залась у него за спиной, и как он начал поворачиваться, и как поворачивался медленно, потому что годы у него были уже не те.

Она ударила его в живот, ниже ремня, и толкнула нож обеими руками, как толкают тугую дверь.

Он не вскрикнул. Он посмотрел на неё с удивлением, будто вещь, которой он пользовался двадцать лет, вдруг заговорила. Потом посмотрел на свою руку, на пальцы, запачкавшиеся кровью, и стал медленно садиться на пол, как садится уставший человек.

Девочка кричала, прижавшись к печи. Зайнап стояла и держала нож в опущенной руке, и с ножа капало на пол.

За плетнём уже кричали. Кто-то стучал в калитку, кто-то бежал по улице, и в сенях хлопнула дверь.

Зайнап посмотрела на мужа, на кровь, которая растекалась по половицам, и на дочку. Потом перешагнула через него, взяла девочку за руку и пошла к двери.

* * *

Двор был полон.

Женщины стояли у плетня и у колодца, мужчины поднимались на крыльцо. Кто-то заглянул в горницу, отшатнулся и сказал одно слово:

— Кровь.

— Повитуху! — закричали с улицы. — И коня за фельдшером, в район!

Двое зашли внутрь, и слышно было, как они кряхтят, под-

нимая Азраила с полу и укладывая его на лавку. Пришла повитуха с охапкой чистых тряпок; её пропустили, и дверь за ней прикрыли. Из-за двери слышно было, как хозяин стонет.

Зайнап стояла на крыльце с ножом в опущенной руке, и никто к ней не подходил. Один работник крикнул от калитки:

— Чего стоите? Держите её!

Никто не двинулся. Мужики были заняты, а женщины смотрели на неё молча, и в этом молчании не было ни страха, ни ненависти. Одна баба, с которой они вместе доили, сказала негромко:

— Иди, девка. Пока не опомнились.

Зайнап обвела их глазами и вспомнила про книгу. Она вернулась в дом, прошла через горницу, где на лавке лежал Азраил, взяла из-под матраса книгу и тёплый платок для дочки и вышла тем же путём, через его кровь.

Дочка держалась за её руку и всё оглядывалась. У плетня стояла Марьям и кланялась им вслед, а больше никто ничего не сказал.

Они прошли всю улицу. За аулом Зайнап обернулась: белый дом под железной крышей, курган за плетнями, журавль колодца. Потом взяла девочку на руки и пошла в степь, не по дороге, а вдоль неё, по траве.

* * *

К вечеру они прошли вёрст двенадцать и вышли к знакомому повороту за холмом. Девочка спала у неё на плече;

Зайнап села на камень у обочины.

Домой нельзя было: там кровь и милиция. К Марьям нельзя было: старуху заключают свои же. В район — можно, но и туда уже, наверное, к утру поедет бумага.

И всё равно другого пути не было. В районе сидел писарь со списками, а где-то на свете жил человек по имени Султан, которого она уже не помнила в лицо.

Зайнап поправила дочку на руках и пошла на восток.

* * *

Ночь они провели в стогу, в полуверсте от дороги. Зайнап выгребла в сене нору, уложила туда дочку, укрыла её платком и легла рядом, загородив её от ветра спиной. Девочка долго не спала и спрашивала, куда они идут.

— К людям, — сказала Зайнап.

Утром они пошли дальше. Дочка сначала шагала сама, потом стала проситься на руки; Зайнап несла её, сколько могла, и опять ставила на землю. Есть было нечего.

У первого колодца, где бабы пололи огород, она остановилась и сказала прямо:

— Дайте хлеба, ради всего.

Женщины посмотрели на неё, на девочку, дали поллепёшки и творогу в тряпице и усадили на чурбак.

— Откуда идёшь?

— Из аула. В район.

Одна, худая, в мужской кепке, сказала вдруг:

— А у нас в ауле, говорят, ссыльная хозяйина порешила.

Ножом.

Другая поправила её:

— Не порешила. Фельдшер будто отходил. Кто говорит — живой, кто говорит — к вечеру помер.

Зайнап жевала лепёшку вместе с дочкой, и руки у неё не дрожали.

— И ищут её, — добавила худая. — Из района бумагу прислали.

Она встала и вытерла руки.

— Спасибо вам.

— Куда ты с дитём-то? — спросила вслед та, что дала хлеб. — Мужа нет, что ли?

— Нет, — сказала Зайнап. — Никого нет.

* * *

К вечеру показался райцентр: водонапорная башня, элеватор, дым над крышами, а за путями длинное здание вокзала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.